



Василий СУББОТИН

«СТАРИК»

Несмотря на то что Павлу Григорьевичу в то время, сразу после войны, едва ли исполнилось пятьдесят лет, все мы, поэты фронтового поколения, ласково, любовно называли его «стариком». «Старик» здесь звучало как «отец». «Как старик?», «Что старик?» — спрашивали мы в те дни друг у друга.

Едва ли кто-нибудь станет отрицать, что Павел Григорьевич Антокольский сыграл очень большую роль в судьбе поэтов фронтового поколения. Как-то так случилось, что в те нелегкие для нас дни по возвращении с войны мы, с нашими первыми стихами, приходили именно к нему, к Павлу Григорьевичу Антокольскому. К нему — раньше, чем к кому-нибудь другому.

Сам он пишет об этом так: «После войны появились молодые поэты, пришедшие из армии и ею воспитанные. Потрясающий душевный и исторический опыт войны был темой их первых книг. Дружба и близость с ними стала насущной потребностью для меня». Один из вечеров, про-

ходивших в то время в нашем Доме литераторов, так, помнится, и назывался: «Павел Григорьевич Антокольский и его ученики».

Впервые я увидел Павла Антокольского, в 1943 году, зимой, в январе или феврале месяце, в Горьком, в клубе танкового училища, куда он приехал в тот год. Это было вскоре после того, как погиб его сын, Володя. Я говорю «вскоре», потому что такие потери всегда близко, рядом... Павел Григорьевич читал нам куски поэмы своей. Я говорю «куски», потому что это слово подходит больше, чем другие все... «Прощай. Поезда не приходят оттуда. Прощай. Самолеты туда не летают...»

Он читал так, как будто отрывал пласты сердца своего. В холодном зале стоял пар от дыхания солдат.

Нам еще всем предстояло в ближайшее время отправиться туда, на передний край, на фронт.

Я не помню теперь, но, наверно, на второй же день после этой встречи кого-то из этих ребят, тех, что сидели в этом зале, Павел Григорьевич пригласил для беседы к себе, в одну из аудиторий этого города, в редакцию областной газеты, должно быть. И я был в числе тех, кто был приглашен, потому что, как вы понимаете, я уже писал и даже успел напечатать несколько стихотворений.

Адрес и даже телефон Павла Григорьевича остался после этой встречи в моей записной книжке, как остался он, наверно, и у других моих товарищей, присутствовавших на этой встрече. Это все имеет отношение к моему дальнейшему рассказу.

Прошло еще два, от силы три месяца, и я оказался в Москве, в эшелоне, отправляющемся на Калининский фронт. Я думаю, вы поймете то, что произошло дальше. Мне некому было позвонить, и я — по единственному записанному в моей записной книжке телефону, из автомата, стоящего здесь же, на перроне, за минуту до отправления поезда, нашего эшелона позвонил ему, Павлу Григорьевичу. Вы понимаете меня? Мне некому было позвонить, и я позвонил ему. Вы легко себе представите сейчас Павла Григорьевича в тогдашней Москве, его положение в минуту, когда я позвонил ему. Он и виду, конечно, не подал, что не понимает, кто ему звонит, но он понял, что звонит солдат, отправляющийся на фронт. Мгновенно все это сообразив, он сказал мне:



П. Антокольский, Красная Пахра, 1966—1967 (?) гг.

— Обещайте мне вернуться с войны! — и прибавил какие-то еще другие добрые отцовские слова, которые я помнил и которые я хотел слышать тогда.

Прошло еще не знаю сколько времени, сколько дней, может быть месяцев, напряженных боев за каждую высоту, за каждый населенный пункт, зима была тяжелая, мы продвинулись всего на несколько километров и потеряли много людей, и однажды, после одного задохнувшегося наступления, я послал Павлу Григорьевичу, опять же ему, несколько своих, первых сколько-нибудь фронтовых и, наверно, еще очень беспомощных стихотворений. И вот какое письмо я получил от него: «Сказать по правде, я совсем не помню вас в Горьком, но ведь это совсем и неважно: пишете стихи, любите поэзию — значит, нам есть о чем поговорить друг с другом...»

И вот закончилась война. Я приехал в Москву из Берлина... И рейхстаг уже был взят, только к этому не было ни у кого тогда никакого особенного интереса: Ну подумаешь, рейхстаг, когда выиграна такая большая война! И я, оказавшись в Москве, пошел — ну к кому? — конечно, к нему, к Павлу Григорьевичу. На улицу Шукина, в дом № 8а. Помню заставленный книгами кабинет, где книги стояли, как в библиотеке, ходить приходилось между полками, потому что полки были не у стен, а как в книгохранилище каком — посреди комнаты. И всю нашу беседу тогдашнюю помню. Все в памяти.

И еще немного прошло времени, немного. — это так сейчас кажется, а тогда месяцы казались большими, длинными, и я опять послал ему, наверно, это был год сорок шестой, с Урала свои новые стихи, тоже о войне, все еще о войне, на этот раз уже только о войне. И опять, тут же, сразу, получил от него новое письмо: «Ваши стихи кажутся мне интересной попыткой отточенных и сжатых формулировок... Это мало тронутый в нашей поэзии жанр...» И дальше — менее похвально: «Избранный вами жанр требует кинжального прицела». Под письмом этим стоит дата: 27 октября 1946 года. Разговор, как видите, шел уже всерьез. Во всяком случае, так тогда мне это показалось. Так я понимаю это и сейчас.

И незадолго до первого, памятного нам совещания молодых, на которое собрались все участники войны, это уже сорок седьмой год был, я опять пришел к нему. И вот записка, которую он дал тогда мне в наш писательский клуб, куда сейчас вход так свободен, что нас, тех, кто постарше, уже окликают, спрашивают у дверей: «Товарищ, вы куда?!» Записка эта у меня сохранилась. Она помечена 27 января 1947 года. «Подателя сего прошу пропустить на собрание секции поэтов». Собрания, разумеется, никакого не было, но в клуб меня тем не менее пропустили. Не прошло и двух минут, как я разговаривал с Семеном Гудзенко и Михаилом Лукониным и читал им свои стихи.

В моей книге, в рассказе о Павле Григорьевиче, сказано: «Павел Григорьевич, как санитар, на спине своей перетаскал с войны все наше поколение военных поэтов... Потеряв сына, он всю свою любовь перенес на нас».

Он хорошо сказал о себе:

Строящий, стареющий, сгорающий,
Жил я, как цари и мастера.